

АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВ

Триггеры абсолютных событий

I.

Рассуждения о революциях часто бывают отягощены грузом традиционных понятий. Это неудивительно. «Век революций», как бы ни определять его календарные сроки, — это и есть время формирования основных понятий европейской и, шире, всей западной социальной науки. Но вот *определить*, что такое революция, достаточно трудно, если придерживаться сугубо научной процедуры. Можно ли отождествлять революции со сменами политических режимов? Нужно ли говорить о революциях только тогда, когда к политическим добавляются глубокие социально-экономические преобразования? Имеет ли смысл суждение о революции, растянувшейся на долгие годы, и чем такая революция при всей ее радикальности отличается от эволюции? Можно ли называть революцией то, что *не удалось* или всякого рода откаты, поражения, отступления предполагаются самой ее природой? Эти и подобные им вопросы могут быть умножены, и на них могут быть даны более или менее убедительные ответы. Но что такое «убедительный ответ»? Это ответ, формулы которого апеллируют, говоря словами Р. Рорти, к некоторому конечному словарю. Если мы соглашаемся, что у революции должны быть «движущие силы», то значимым объяснением будет то, в котором вскрыты эти «силы». Если нас может удовлетворить только концепция «механизма», значимым объяснением будет то, в котором описывается «механизм» революционных преобразований. Важно заметить, что значимое объяснение — не всегда правильное, оно может быть также и спорным. Но если оно не оперирует формулами конечного словаря, то не считается даже ошибочным, а просто вообще не рассматривается как объяснение.

Это налагает существенные ограничения на возможности исследования: сколько бы ни было разнообразия в части установления фактов, самая область возможных фактов всегда остается той же самой. Напротив, любая попытка выйти за пределы привычного категориального аппарата может изменить область значимых объяснений и релевантных

фактов, но при этом рискует оказаться также и за пределами конечного словаря, предлагая в виде объяснения то, что интуитивно не может быть принято в виде такового адресатами научных суждений. Попробуем тем не менее в связи с революциями, сосредоточиться не столько на возможностях убедительного ответа, сколько — если вспомнить известную остроту Б. Брехта, — на формулах «убедительного вопроса». Иначе говоря, мы рискуем предположить, что в отношении революции, как и ряда других важных социальных событий, требуется в первую очередь изменение конечного словаря, а не новый подбор и распределение фактов и объяснительных средств внутри знакомого поля.

Здесь требуется только одно уточнение. Не является ли в таком случае и само понятие революции одним из тех традиционных средств освоения мира, которое тогда тоже должно быть поставлено под вопрос, или, иначе говоря, не имеет ли смысл любой разговор о революции только при условии использования тех самых понятий, ограниченность которых мы зафиксировали в начале? Однозначно исключить это, конечно, нельзя. Однако есть и другая возможность. «Революция», если использовать термин Ханса Блюменберга, — не столько понятие, сколько *абсолютная метафора*. Блюменберг говорит, что метафоры могут принадлежать к *основному составу* философского языка, могут быть переносами, которые нельзя вернуть обратно, в область логического.

Пожалуй, демонстрация таких абсолютных метафор могла бы побудить нас вообще заново продумать отношение между фантазией и логосом, а именно в том смысле, чтобы рассматривать область фантазии не только как субстрат трансформаций в понятийное — при которых, так сказать, разрабатываются и преобразовываются мог бы элемент за элементом, вплоть до исчерпания запаса образов, — но как катализирующую сферу, в которой, правда, мир понятий постоянно обогащается, но не преобразует и не истощает этот основной фонд¹.

Абсолютность метафор есть не столько сохранение определенного состава вечных символов, устойчивых переносных значений, сколько неизбежность балансирования между прямым и переносным. Рутинизация использования метафорических выражений, привычное употребление одних и тех же терминов, заставляющее забыть их метафорический смысл, приводит к тому, что с переносным значением работают, как с собственным. Метафору как понятие включают в дедукции, уточняют объем, строят целые концептуальные схемы, основанные на его толковании. Постепенно образный, переносный характер значения стирается. При этом не всегда бывает так, что движение идет только в одну сторону, от метафоры к понятию. Встречаются и противоположные случаи: поначалу строго научный термин, имеющий совершенно определенный смысл, используется во все более метафорическом значении. При этом

¹ Blumenberg H. Paradigmen zu einer Metaphorologie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1998. S. II.

остается как бы воспоминание о научном характере термина, и апелляция к его научному генезису является важной составляющей риторики, в которой понятие замещается метафорой. Возможно, так именно и произошло с «революцией». Допустим, что собственно научным было и остается только одно объяснение революции из числа тех, что были упомянуты в самом начале. Отсюда еще не следует, что остальные трактовки совершенно непригодны: риторику нельзя дезавуировать простым указанием на ненаучность, но благородное научное происхождение, безусловно, добавляет силы риторике и метафорике. Поскольку же в современном словоупотреблении нет никакой однозначной связи между «революцией» и привычным социально-экономическим словарем объясняющих ее понятий, ничто не мешает нам дать волю продуктивной фантазии и предпринять новый опыт концептуализации абсолютной метафоры.

II.

Далее мы будем исходить из того, что революции являются социальными событиями в политическом пространстве. Иначе говоря, «научно-техническая революция», «сексуальная революция», «революция в образовании» не являются для нас собственно революциями, каждая из них — это *метафора* (предположительно, научного) *понятия*, то есть не может быть проявлена до тех пор, пока нет хотя бы относительной определенности с революцией политической. Что же такое политическая революция? Примем как не требующее доказательств утверждение, что политическая революция является в первую очередь *событием*. Событие — это некоторое смысловое единство, коррелятивное *наблюдению*. Наблюдение — это логическая характеристика операции различения. Схемы или основания различения принимаются группами людей, которые, грубо говоря, видят в происходящем *одно и то же*. Именно поэтому — и безотносительно к прочим характеристикам — они называются *сообществом наблюдателей*. С точки зрения логической, сообщество наблюдателей неотличимо от единичного наблюдателя. Логическая характеристика события состоит в том, что для наблюдателя (сообщества наблюдателей) оно выступает как некоторое *свершение*, законченное действие, процесс или состоявшееся изменение (альтерация). В этом смысле хорошо наблюдаемое, различимое событие всегда отдельно, атомарно. Оно не смешивается с другими событиями и (для наблюдения!) сохраняет единство, сколько бы времени оно ни продолжалось.

Будучи отдельным, событие соотносится с прочими событиями. Когда несколько событий рассматривается в совокупности, такое сочетание называется *фигурацией*. Фигурации могут быть последовательными, синхронными или комбинациями того и другого. Последовательная фигурация представляет собой *серию* событий, которая имеет начало и завершение. Завершением, с точки зрения наблюдателя, является последнее в серии событий, которое имеет различимую связь с первым событием в серии. Зависимости между событиями имеют логический и функцио-

нальный характер. *Каузальные* связи между событиями могут быть зафиксированы в последовательных сериях, но не являются ни единственным, ни преобладающим видом связи. Если одно из событий принимается за точку отсчета, то наиболее удаленные от него события, поскольку связь с ними исходного события различима для наблюдателя, могут быть применительно к данной фигурации названы *горизонтом событий*. За горизонтом событий находятся те события, которые неразличимы как события данной фигурации.

В фигурации все события так или иначе соотнесены между собой. Иначе говоря, событие как отдельное событие *предполагает* ряд событий и предполагается другими событиями. Простейший пример этого — падение камня. Если мы фиксируем падение как отдельное событие, то ему не может не предшествовать состояние до падения и состояние после, а значит, и события перехода из покоя в падение и из падения в покой, отличимые от собственно фазы полета. Ни одно из этих событий не является в собственном смысле причиной другого. Они именно логически предполагаются процедурой различения. Нельзя просто сказать: случилось событие такое-то, если не допустить, что оно предполагает ряд других, сопряженных в одну фигурацию событий. Это называется *логическим устройством*, или *логической конструкцией*, события. Логическая конструкция не всегда бывает однозначной. Наблюдаемое событие предполагает иногда целые классы возможных событий, далеко не все из которых действительно произошли. А поскольку фигурация не обязательно бывает видна наблюдателю сразу и целиком, исследование логической конструкции событий позволяет ему только ориентировать свое внимание, определяет среди возможных событий факты, значимые в связи с исходным событием или группой событий.

Обратим внимание на то, что в такой трактовке события оказываются, так сказать, в опасной зависимости от произвола наблюдателя. Может ли быть так, что наблюдатель видит «что хочет», а не «что есть»? Это сложный вопрос, философски корректный ответ на который увел бы нас далеко от нашей темы. Укажем, однако, что есть такая категория событий, которые словно бы навязывают себя наблюдению, не заметить которые довольно трудно. В самом общем смысле такие события мы называем «абсолютными». Конечно, подобно абсолютной метафоре, и абсолютное событие лишь настолько абсолютно, насколько речь может идти об осмысленном наблюдении и описании мира определенным сообществом наблюдателей. Можно ли говорить о нем также и в некотором высшем, безусловном смысле? «Дальнейшее — молчанье», поскольку мы остаемся в пределах нашей науки. Но каково же абсолютное событие в условном, ограниченном смысле? В предлагаемой терминологии это событие, предельное для данной фигурации. Предельными событиями являются события с асимметричной логической конструкцией. Сами они входят в логическую конструкцию всех событий данной фигурации, но в их собственную логическую конструкцию входят события, принципиально

невозможные в данной фигурации. Такими абсолютными событиями являются рождение и смерть, основание, а также явление трансцендентного в имманентном (сакральное событие).

К абсолютным событиям зачастую можно отнести и события политические. Выше мы уже указали, что они происходят в политическом пространстве. Теперь мы можем это прояснить. Политическое пространство есть пространство событий власти, которой сообществом наблюдателей вменяется легитимность. Власть является событием, экстраординарным по отношению к рутине социальной жизни. Иначе говоря, логическая конструкция политического события такова, что ее неизменным аспектом является власть, нарушающая некий привычный ход вещей. Власть в предельном осуществлении — это возможность причинения абсолютного события: смерти. Каузальность власти связана как раз с этим потенциалом причинения смерти, которая остается в горизонте возможных событий и как таковая окрашивает собой прочие действия.

Потенциальное в понятии власти важнее *каузального*. Еще сто лет назад Георг Зиммель замечал, что угрозу жизни неудобно использовать, потому что она предполагает, будто тот, кому угрожают, безусловно сделает выбор в пользу жизни и подчинения, но если он предпочтет смерть, то власть будет означать лишь способность властвующего его убить, но отнюдь не его готовность подчиниться. Классическое (хотя и не бесспорное) определение власти у Макса Вебера неслучайно связано не с актуальным силовым действием, но с шансом: «*Власть* означает любой шанс осуществить свою волю в рамках некоторого социального отношения, даже вопреки сопротивлению, на чем бы такой шанс ни был основан» («Хозяйство и общество», гл. 1, § 16)². Иначе говоря, если происходит событие, в котором используется «шанс власти», то *причины* того, почему одному участнику удалось навязать свою волю другому, могут быть самыми разными. Но для наблюдателя важно, что ресурсы властвующего реализовались именно в событии осуществления власти как предельной (не реализованной) возможности лишить подвластного жизни. Для наблюдателя также важно, что если воля не навязана, но власть существует как шанс ее навязать, то течение событий связано с ориентацией на этот шанс.

Все эти разъяснения не будут иметь, однако, никакой ценности, если мы просто отождествим властное и политическое. Очевидно, что политические события (которые у нас пока еще никак не квалифицированы) вторгаются в область неполитического повседневного опыта, поэтому мы можем говорить об их экстраординарном характере. Очевидно, что и власть также вторгается в область повседневного опыта, поэтому мы говорим об особом месте власти в логической конструкции экстраординарных событий указанного выше рода. Но являются ли все экстраординарные события,

² См. в русском переводе: Вебер М. Основные социологические понятия // Теоретическая социология. Антология / Под. ред. С. П. Баньковской. М.: Книжный дом «Университет». Ч. 1. С. 137.

связанные с властью, политическими? — Разумеется, нет. Мало того, если политические события, каковы бы они ни были, образуют, так сказать, *политическую рутину* или если повседневный опыт настолько пронизан вмешательствами как политической, так и неполитической власти, то сохраняется ли силу все наше предшествующее рассуждение?

Будем исходить из того, что не всякая власть является политической властью и не всякое событие, меняющее привычный ход вещей, является политическим. При всей очевидности этих положений, они ведут нас к важному выводу: поскольку мы ограничиваем наблюдение тем уровнем, где вмешательство в естественный ход событий означает власть над телом, политическое не наблюдаемо. Это не значит, что политическое здесь становится неполитическим. Это значит, что оно является неполитическим для некоторого сообщества наблюдателей, неспособного выйти за пределы данного взаимодействия и не усматривающего в событиях властного вмешательства более широкий, *политический* смысл. Это хорошо известно историкам бурных политических событий, в том числе и революций: очевидцы чаще повествуют о насилии как таковом, чем о его политической квалификации, не говоря уже о квалификации его как революции. Никакого противоречия здесь нет, как нет и никакой «последней правды» истории: жертва проскрипций или реквизиций может усмотреть в них не более политического смысла, чем в обычном грабеже или убийстве; массовые волнения, мятежи, перевороты — все это может вовсе не распознаваться как революция. В чем разница между просто властным событием и политическим событием? В логической конструкции. В логическую конструкцию политического события входит ненаблюдаемое, точнее говоря, то, что не может наблюдаться непосредственно. Непосредственно наблюдаются *тела и места*, так что и насилие, и вмешательство — все это происходит с вот этими людьми в этом месте. Политическое же имеет отношение к *полису*, к некоторому политически квалифицированному *месту мест*: региону *легитимной* власти. Это предполагает особый род наблюдения, дифференцирующего простое насилие (актуальное или потенциальное) и легитимное насилие, источником которого может быть только признанная, а не просто превосходящая власть³.

Но не получается ли тогда, что политическая жизнь вовсе невозможна иначе, кроме как в форме вмешательства легитимной власти в неполитические по сути дела? Такое суждение было бы логически оправданным, если бы мы как исследователи становились на точку зрения гипотетического абсолютного наблюдателя, которому точно известно, например, какие события являются политическими, а какие — нет. Между тем политическое — это именно то, что наблюдается как политическое. Если речь идет о политической борьбе, например, в государстве, то любое событие лишь потому оказывается именно политическим, что таковым его называ-

³ Подробнее см.: Филиппов А. Ф. Пространство политических событий // Полис. 2005. № 2.

ет сообщество наблюдателей. Сравним два события: голосование на очередных парламентских выборах и убийство лидера политической группировки. Первое, несмотря на весь его рутинный характер, экстраординарно по отношению к повседневной рутине неполитической жизни граждан. По сути дела, их участие в выборах декларируется как изъявление политической воли народа, вторгающегося в рутину технического, неполитического управления властным решением по поводу ключевых фигур и стратегии решения политических вопросов. Можно сколько угодно разоблачать «неподлинность» такого описания современной публичной политики. Одно очевидно: стоит лишить ее этого измерения, и политика будет сведена к технологии эффективного управления. Это не говорит ни в пользу политики, ни против технологии. Просто одно не равно другому, и связи событий, возможные по их логической конструкции, в обоих случаях разные⁴. Теперь посмотрим на ситуацию с убийством лидера. Несмотря на экстраординарный характер (а прекращение физического существования есть, как мы помним, абсолютное событие), оно может оказаться вполне рутинным делом, например, если он гибнет во время массовой резни, а не в результате покушения, спланированного его противником. Но станет ли оно от этого неполитическим? Все зависит от сообщества наблюдателей. В определенных ситуациях никакое происшествие, случившееся с политически значимой фигурой, не будет идентифицировано неким сообществом наблюдателей (будь то сторонники этого деятеля, ангажированные журналисты или неискушенные, но политически возбужденные граждане) иначе, как прямой результат действия инстанций власти. Однако для других наблюдателей это происшествие оказывается политическим не само по себе, но только из-за того, что оно будет иметь следствием именно такую квалификацию события этими сообществами. Поэтому, как видим, власть недостаточно назвать потенцией вмешательства. Такое обозначение еще слишком сильно связано с традиционным каузальным подходом: есть события-причины и есть события-результаты, у причин есть так или иначе называемый субъект, в социальной жизни, как правило, обладающий сознанием и волей. Эта схема рассуждений не так уж плоха. Мы знаем, что и это бывает: есть человек или группа лиц, обладающих полномочиями. Есть готовность использовать полномочия. Есть результаты их действий — иногда хорошо различимые (как, например, арест в результате судебного решения и основанного на нем приказа об аресте). Но каузальные связи, как мы уже говорили выше, — это только один из видов связи событий. Поэтому их не стоит универсализировать. Многие виды коллективного поведения не вызваны к жизни субъективно вменяемой сознательной волей. Это не значит, что здесь нет политики и нет власти. Но не для всякого наблюдателя связи политических собы-

⁴ См. подробнее в связи с классической работой Карла Шмитта: Филиппов А. Ф. Техника диктатуры: к логике политической социологии // Шмитт К. Диктатура. СПб.: Наука, 2005.

тий будут иметь характер каузального вменения. Паника, погромы и прочие движения, которые атрибутируются *толпе*, могут иметь или не иметь далеко идущих политических следствий. Тем более нужна особая направленность взгляда, чтобы различить в них единое действие причиняющей воли. Одни наблюдатели его различают, другие — нет.

Но что же тогда можно говорить о политике и власти, если каузальная связь как таковая лишена достоинства самоочевидности? Не ставится ли тем самым под сомнение все предшествующее рассуждение о политике? Нет, не ставится, если мы стоим на позициях теории события. Ведь в отличие от абсолютных событий, само свершение которых безусловно, так что идентификация их в наименьшей степени зависит от произвола наблюдателя, все прочие события, в том числе и те, что *как бы* причиняют события абсолютные, коррелятивны наблюдению. Иначе говоря, вмешательство в ход событий, конечно, есть признак власти. Но будет ли в течении событий усмотрено такое вмешательство, зависит от характера различений и логических конструкций. Смерть есть абсолютное событие. Но наступила ли смерть в результате властного причинения (не говоря уже о том, было ли властное причинение политическим) — это усматривается или не усматривается наблюдателем. Меняет ли это что-либо в нашем определении власти? Скорее, речь может идти о переопределении. Вопрос состоит не в том, имелся ли у кого-нибудь или нет потенциал причинения смерти. Дело в другом: *усматриваемая власть включается в формулу логической конструкции событий как ее новый и необходимый компонент*. Вместо того чтобы искать *подлинный субъект* властного действия, мы должны задать себе вопрос: относятся ли наблюдатели к релевантным событиям как событиям, определяемым (полностью или частично) властным вмешательством в обычный ход дел, в рутину повседневной каузальности? Или, если воспользоваться языком Гофмана, транспонирован ли фрейм ожидаемого хода событий во фрейм ожидаемого-с-вмешательством-власти хода событий? Относится ли сообщество наблюдателей к этой власти как власти, сконцентрированной в конечной инстанции признанного насилия? Соотносит ли оно инстанции вменяемой (то есть усматриваемой как источник действия-вмешательства) власти с регионом ее признания? Или, иначе говоря, приписывает ли оно совершение определенных событий некоторому различимому *локалу*, то есть региону, смысловые границы которого отделяют области разрешенных, допущенных, а не просто рутинизированных, событий от всех остальных.

Конечно, чтобы такое включение власти в логические конструкции было возможным, необходима стабильная готовность сообщества наблюдателей к соответствующим различениям. Точно так же необходима стабильная готовность идентификации власти как власти политической. Иначе говоря, должен быть фрейм политических событий. Но одно дело — рутинная готовность обнаружить конструкцию политического в том или ином событии, другое дело — актуализация этой готовности в определенных обстоятельствах. Так, одни и те же люди в разных обстоятельствах

будут называть один и тот же вопрос (например, об изменении процедуры уплаты некоего налога) то техническим, то политическим. Чтобы прояснить существо этого подхода, обратимся к случаю, казалось бы, очевидному. Событие смерти, как мы несколько раз говорили, абсолютно. Но что стало ее причиной? Ответом может быть ссылка на смертельную болезнь. Но что стало причиной болезни? Почему она привела к смерти именно сейчас? Почему в случаях, во всем остальном весьма сходных, она либо не начиналась вовсе, либо начиналась раньше или позже, либо излечивалась, либо гораздо раньше оканчивалась смертью больного? Нередко, отвечая на эти вопросы, даже искушенные доктора заговаривают о «Божьей воле». Но почему была именно такова эта воля? Даже в религиях с развитой и практически разработанной теодицеей, на этот вопрос не всегда может быть получен ответ, удовлетворяющий данное сообщество наблюдателей. Дело, однако, в том, что при таком повороте взгляда само событие вроде бы не меняется, меняется по крайней мере отчасти его логическая конструкция. Так же обстоят дела и с властью, которой могут приписывать или не приписывать действия в обстоятельствах, которые могли бы развиваться и без ее участия. Для того чтобы увидеть власть в логической конструкции событий, надо задаться тем же самым вопросом, что и в случае болезни: почему именно это приключилось именно с этим человеком (объектом может быть, конечно, не только человек, но и любая релевантная совокупность явлений)? Почему именно сейчас? Иначе говоря, власть усматривают не там, где каузальная связь как таковая не вызывает сомнений и наблюдается во множестве случаев, а там, где ставится вопрос о природе *индивидуального* события.

Итак, если событие считается выламывающимся из рутины (взламывающим фрейм), оно нарушает логическую конструкцию (например, мы говорим: как мог умереть от пустяковой болезни такой здоровяк? как мог возникнуть экономический кризис в ситуации надежного процветания?). Одним из способов ее восстановить, является апелляция к волевому действию (наверное, говорим мы, не обошлось без ошибки врачей, без божественной кары за грехи, без сглаза и, соответственно, наверное, не обошлось без подрывной деятельности, без спекулятивной активности, без борьбы кланов и т. п.). Вот эта дополнительно конструируемая и часто надежно фиксируемая наблюдателями потенция называется у нас властью. Политической властью, как мы видели, эта потенция может быть, только будучи распознана как признанная.

Но почему вообще ставится вопрос о признании? Формула вмешательства в логической конструкции события, о которой мы говорили выше, сама по себе означая власть, требует, как мы видели, особой ситуации вмешательства. Самая возможность вмешательства означает, что власть есть, то есть и прежде существовала как возможность. Эта возможность, конечно, могла реализовать себя впервые именно в данном случае. Но, скорее, в *каждом* данном случае вмешательство власти — это, хотя и индивидуальное, единичное событие, но тем не менее событие, отсылающее

к прецедентам. Одно то, что в уникальном обнаруживается повторяющееся, позволяет конструировать власть как *состояние* можествования. Именно в связи с условиями можествования мы и говорили о признании. Признание означает не только потенцию на стороне инстанции власти, но и готовность к повиновению на стороне тех, кто ей подчиняется. Иначе говоря, признание — это готовность транспонировать логическую конструкцию событий, готовность распознать в наблюдаемом ходе событий некую иную природой событий, как они распознаются наблюдателями, изначально не предполагаемую конструкцию. Так, например, Признание власти не просто превосходящей, но и политической, означает, однако, нечто большее, чем просто отнесение ее к пространству полиса. Если вмешательство власти само есть род рутины, вроде того, как рутинным делом является действие уличного регулировщика или охранника, в том числе и в ситуациях, когда обычным образом нарушается обычный порядок⁵, то эти действия, пусть даже авторизованные в конечном счете инстанцией верховной власти, являются не политическими, а полицейскими. Политическое появляется лишь там, где под вопрос ставится само устройство полисного порядка. Молчаливое, фоновое признание сложившегося порядка вещей — в том числе и полицейского вмешательства — не является политическими, и никакие события, в логическую конструкцию которых входит такое признание, тоже не являются политическими.

Значит, чтобы событие было распознано как политическое, необходимо что-то еще. Это «еще», как представляется, невозможно ни просто распознать в данной констелляции событий, ни в логической конструкции, полученной через транспонирование обычной рутины в фигурацию применения власти, отсылающую к голой потенции вмешательства. Карл Шмитт в одной из поздних работ говорил о «добавочной ценности» (то бишь «прибавочной стоимости»)⁶, том самом «нечто», которое не сводится к простой готовности повиновения. Никлас Луман говорил о власти как *среде*, то есть совокупности элементов, которые могут быть сцеплены между собой жестко (и тогда мы говорим о политической системе) или более рыхло (и тогда мы говорим о среде власти, в которой только возможна кристаллизация более жестких сцеплений)⁷. Это только примеры того, как вдумчивые авторы усматривают принципиальное различие между массой единичных случаев и тем общим состоянием, которое необходимо охарактеризовать, не отказываясь тем не менее от логики исследования наблюдаемого и уникального. Вопрос о политической власти ставится, следовательно, как вопрос о готовности наблюдателей

⁵ Например, мы знаем, что рядом с *этим* кафе по вечерам обычно случаются драки, а в поездах такого-то направления обычны случаи воровства.

⁶ См.: Schmitt C. Gespräch über die Macht und den Zugang zum Machhaber. Gespräch über den neuen Raum. Berlin: Akademie-Verlag, 1994. S. 15.

⁷ Luhmann N. Die Politik der Gesellschaft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2000. Kap. 1.

совершить еще одну итерацию: от констелляции превосходства перейти к формуле власти, а от формулы власти — к формуле политической власти. Такая готовность, по идее, присутствует среди вменяемых граждан всегда. Но она актуализируется лишь постольку, поскольку самоочевидное поставлено под вопрос. Поскольку в каждом данном событии при любых обстоятельствах усматривается распределение потенций вмешательства, политически значимое ставится под вопрос как общая формула локального порядка. Иначе говоря, если нарушение рутины приводит к рутинному же вмешательству полицейской власти, то проблематичность полицейской рутины оборачивается политическим вмешательством. Политическая власть обнаруживает себя, таким образом, в тех событиях, когда вопрос ставится о власти над властью, то есть как при восстановлении рутины властного вмешательства (например, направление специальных подразделений на помощь полицейским нарядам при беспорядках — это политическое решение, соответствующее политическому характеру события), так и при полном переформатировании этого вмешательства (например, замена ключевых чиновников в различных органах исполнительной власти — это всегда политическое событие, независимо от того, произошло ли оно в связи с очередными выборами или по решению, вызванному интригами). Но подобно тому как полицейское вмешательство может быть рутинным, своеобразной рутинной становится и вмешательство политическое. Если представить себе это очень грубо как иерархию ступеней вмешательства в логической конструкции события, то их окажется всего три, потому что власть над властью замыкает этот логический ряд внутри региона. Если же и здесь возникают нарушения, это грозит революцией.

III.

Что же нужно, чтобы революция была распознана как таковая? Очевидно, что должен быть некий взгляд на нее как на политическое событие особого рода, взгляд, который может быть даже изначально присущ некоторому узкому сообществу наблюдателей, но который только со временем получает широкое распространение. Что же это за взгляд? Из того, что было сказано выше, следует, что это взгляд на некую череду событий⁸

1. как на некое единое событие, которое, может быть, и членится на эпизоды, но эти эпизоды суть логически несамостоятельные фрагменты единого события революции;
2. как на политическое событие, то есть событие, в логическую конструкцию которого входит власть во всех смыслах: а) способность прервать череду обыденных событий; б) потенция прерывания физическо-

⁸ Говоря таким образом о некой чередности событий, мы отнюдь не утверждаем, что «на самом деле» за единством скрывается множество. Никакого «на самом деле» здесь нет, есть лишь указание на необходимость смены перспектив описания.

го существования, усматриваемая во властном событии; в) потенция легитимного насилия во всех его формах; г) потенция восстановления полицейского порядка в данном локале легитимности;

3. как на абсолютное политическое событие.

Это последнее обстоятельство является парадоксальным. Дело в том, что политические события, как мы видели, включают в логическую конструкцию существование признанной легитимной власти. Абсолютное событие в свою очередь включается в логические конструкции прочих событий, но не включает их в себя — именно в данной фигурации. Если легитимная власть — это не состояние, но потенциал признанного вмешательства, распознаваемый в логической конструкции событий, то революция не может быть политическим событием: находясь на горизонте событий данной фигурации, она не отсылает к существованию легитимной власти, то есть власти, распознаваемой как легитимная в событиях данной фигурации. Вместе с тем революция не может не быть политическим событием, потому что события власти представляют собой не только моментальную фигурацию, но последовательность, и в начале серии, на горизонте фигурации логической конструкцией предполагается событие *основания*.

Основание отсылает к тому, что принципиально не могло войти в данную фигурацию. В череде политических событий оно само бесосновно: голое насилие, которому могут быть приписаны моральные, религиозные, экономические и прочие оправдания, но которое по самой сути своей, как радикальная цезура порядка, не может, даже будучи морально оправданным, быть также и политически легитимным. Конечно, есть, как мы видели, такие политические события, наблюдатели которых усматривают действие или потенциал действия легитимной власти там, где этого не видят другие. Но революция должна быть свержением одной легитимной власти и установлением другой. Пусть прежняя или новая власть некоторым сообществом наблюдателей считается нелегитимной (случай, как мы знаем, не то что нередкий, но прямо-таки предполагаемый революциями). Однако же не бывает так, чтобы даже те, кто не признает легитимность новой или старой власти в юридическом смысле, не признавали бы ее и, так сказать, социологически, то есть не отдавали себе отчета в том, что для другого сообщества наблюдателей легитимной является именно другая власть, отчего, в частности, и приходится вести с ним борьбу. Этот социологически-эмпирический аспект легитимности не следует смешивать с юридически-идеологическим. Полный беспорядок, полное отсутствие признаваемой кем бы то ни было легитимной власти в регионе прежде существовавшего государства возможно. Полный беспорядок и отсутствие легитимной власти в каком бы то ни было регионе внутри региона прежде существовавшего государства — это явление более редкое и менее интересное, потому что о смерти государства тогда можно говорить, но о революции — не приходится.

И все-таки, так сказать, с другой стороны, революция оказывается *прекращением* существования, смертью политического порядка, пределом, горизонтом событий, *пока еще* возможных в этой фигурации. Но для того, чтобы революция могла наблюдаться как политическое событие, здесь тоже нет оснований! Дело даже не в том, что, скажем, совершение переворота, который позже будет объявлен революцией, не может наблюдаться как политическое событие, поскольку не отсылает к действиям легитимной власти. Ведь политическая жизнь и политические события отсылают к действиям власти не только прямо, то есть не только так, что *вменяются* ей как источнику некоторой активности. Речь идет именно о среде или «прибавочной стоимости» власти, о которых мы упоминали выше. Во время революции исчезает не превосходство силы, не возможность вмешательства в рутину (поскольку такая рутина еще сохраняется), даже не потенциал властного урегулирования властных действий. Исчезает именно рутинная логическая конструкция трехступенчатой иерархии власти. Последний этаж, занимаемый сувереном⁹, оказывается местом напряженного противостояния, и это придает некий особый смысл событиям, здесь происходящим. Но выбора нет: политическими могут именоваться либо эти события, относящиеся к экзистенциальному противостоянию врагов, либо события политической рутины, как они были описаны нами выше. Это и есть радикальная цезура порядка.

Теперь мы видим, почему теоретически бессмысленно говорить о причинах революций. Со смертью политического порядка и рождением нового дело обстоит так же, как со смертью и рождением человека: ближайшиe причины понятны, непонятно только «почему именно здесь и именно сейчас», непонятны причины причин, приведших к такой индивидуализации каузального ряда. Разумеется, это рассуждение не надо понимать слишком примитивно. Например, если человек спрыгнет с крыши многоэтажного дома, он, скорее всего, разобьется насмерть. Но ведь вопрос не в этом, а в том, почему он спрыгнул. Если вести опасный образ жизни, будь то участие в войнах или авантюрах, будь то длительное пребывание в нездоровом климате и неправильное питание, будь то пользование наиболее рискованными видами транспорта или отказ от лечения серьезных болезней, то вероятность кончины, которую принято именовать преждевременной, возрастает, но дело ведь опять не в этом: стопроцентной уверенности в скорой гибели не дает даже это, само понятие нормы применительно к продолжительности жизни исторически и культурно изменчиво, да и сознательный отказ от попыток жить дольше должен тоже быть на чем-то основан. То же самое можно сказать о политическом порядке. Революции всегда неожиданны для

⁹ Легко было бы показать, что понятие революции предполагает понятие суверена, так что до формирования современного представления о суверенитете и революций никаких быть не могло. Как не будет их и тогда, когда современное понятие суверенитета полностью размоется отчетливо обозначившимися тенденциями.

современников, и если речь идет всего-навсего об удавшемся заговоре, которого ждали и которому сочувствовали в большинстве своем граждане-наблюдатели, то называть его революцией обычно нет оснований.

Вероятно, здесь можно провести достаточно внятное разграничение. Если в конечном счете сообществом наблюдателей событие идентифицируется как абсолютное, значит, у него не было «автора», его нельзя свести по каузальной цепочке к основной причине, оно было цезурой порядка. Напротив, если можно найти внятные причины, значит, произошло перереформатирование порядка, но не абсолютное событие. Таково большинство политических переворотов, даже если их иногда объявляют революциями.

Критические события-триггеры не вызывают, но *индугируют* абсолютные события, т. е. предполагают возможность перереформатирования всей логической конструкции. Критические события обозначают некий переход в новый формат, которого, собственно, нет. Они отсылают к тому, без чего ординарное событие теряет третье измерение, или третью ступень, в смысловой иерархии всей конструкций. Так, например, бывает, когда событием оказывается *невмешательство* власти: рутина дает сбой, что *индугирует* (не вызывает!) вмешательство власти, она *могла бы вмешаться*, но она *не вмешивается*. Поскольку ожидаемое событие власти, то есть рутина власти, это также некий фрейм, то невмешательство власти взламывает фрейм, в конструкцию которого входила отсылка к принципиально возможному легитимирующему вмешательству. Где нет власти, там под сомнением оказывается власть над властью. Так бывает в периоды массовых беспорядков. Так бывает тогда, когда происходят перебои с жизнеобеспечением. Так бывает во время военных катастроф.

Триггеры другого рода — слишком далеко заходящие политические процессы. Речь может идти о том, что политические события, рассчитанные на символическое присутствие фрейма суверенной власти, по тем или иным основаниям переосмысляются, переконструируются так, что одного только символического присутствия оказывается недостаточно, а привычные комбинации символического и силового оказываются недостаточными. Как конкретно выглядит во всех этих случаях критическое событие или, точнее, критическая фигурация событий, — это дело специальных исследований.

Почему же в одних случаях возникают революции, а в других мы говорим о бунтах и (удачных или неудавшихся) переворотах? Все дело в том, насколько радикально сломан фрейм суверенной власти, легитимирующей политическое вмешательство. Грубо говоря, если речь не может идти ни о какой модификации, восстановлении, переустройстве порядка, то предпосылки для того, чтобы вновь возникающий порядок был воспринят именно как порядок постреволюционный, уже существуют. Это не очень значительный результат, но этот результат дает максимум того, на что способна здесь чистая теория. Все остальное — дело прикладного исследования.